

## ЕКАТЕРИНА КАРПОВИЧ



## МУЗА

### РАССКАЗ

Иван Петрович стоит посреди аудитории. Вернее сказать, он не стоит, а подпрыгивает от нетерпения, так как сегодня он крайне доволен собой. Глаза его сияют, щёки покраснелись, усики дрожат, а галстук под безрукавкой то и дело мешает, отчего приходится его поправлять. За десять лет преподавания в консерватории ему ни разу не удалось вдохновить студентов собственной лекцией, и он всё время искал это вдохновение в чём-то ещё: приносил редчайшие концертные записи, зачитывал неопубликованную переписку известных композиторов и даже несколько раз показывал студентам фильмы и мюзиклы, которые, на его взгляд, просто обязаны вызывать бурю эмоций.

Аудитория большая, лекционная, студентов набилось достаточно много, и это очень подбадривает Ивана Петровича: значит, его идея, что называется, “прокатилась”. Пришли не только те, у кого в это время лекция по композиции, но и просто любопытные студенты из других групп. Шушукуются, ждут гостя, который и есть сегодняшнее *вдохновение*.

Слышится негромкий стук в дверь, и в аудиторию несмело входит гость: высокий худощавый мужчина средних лет с большими тёмными глазами, полными какого-то невысказанного отчаяния, несмело прикрывает за собой дверь и растерянно оглядывает аудиторию. На нём чёрное полупальто, через плечо перекинут полосатый серый шарф. Волосы слегка растрёпаны, но лицо гладко выбрито.

Студенты затихают, Иван Петрович взволнованно оборачивается.

— Ну, вот и наш гость! Проходите, Николай. — Он жестом приглаша-

---

*КАРПОВИЧ Екатерина Юрьевна. Родилась в г. Шяуляй (Литва). Окончила Белорусский государственный университет по специальности “психология”. Живет в Минске. В “Нашем современнике” публикуется впервые.*

ет гостя к преподавательскому столу, стоящему в центре аудитории. На столе стоит бутылка питьевой воды, пластиковые стаканчики, лежит стопка нот.

— Уважаемые — м-м... э-э... — студенты, — торжественно провозглашает Иван Петрович, в то время как Николай смущается, не зная, сесть ему или продолжать стоять. — Сегодня к нам приглашён известнейший композитор Николай Резников. За последние пятнадцать лет Николай написал музыку к трём операм, четырём балетам, выпустил два сборника прелюдий и, конечно же, ни в коем случае нельзя забывать о его знаменитых экспромтах! — Иван Петрович едва ли не выпрыгивает из своей коричневой безрукавки. — Прощу прощения, Николай, сколько всего экспромтов было вами написано?

Гость опускает взгляд и всё с тем же немым отчаянием молчит, но спустя несколько мгновений тихо произносит с какой-то обречённостью в голосе:

— Четыреста семьдесят восемь.

На мгновение воцаряется тишина, кто-то смотрит на человека в чёрном пальто с восхищением, кто-то — с недоверием. Иван Петрович поворачивается к аудитории и со значительным видом наклоняет голову, немного выпучив глаза.

Резниковские экспромты были и вправду известны. Внимание музыкального сообщества, в особенности преподавателей училищ и консерваторий, было привлечено сочетанием простоты технического исполнения и невероятной сложностью исполнения артистического. Первое позволяло задавать экспромты учащимся “от мала до велика”, но редко кто был способен передать эмоциональную насыщенность произведений так, как это делал их автор.

Сам же Николай во время выступлений нередко попадал “мимо нот”, брал не те аккорды, но никому и никогда не приходило в голову это обсуждать. Едва он касался рояля, его будто охватывало невидимое пламя, музыка низвергалась и обрушивалась на слушателей, захватывала их целиком, заставляла столбенеть и задерживать дыхание. Руки Резникова выписывали пируэты над клавиатурой, всё его тело сливалось с драмой очередного экспромта, билось в этой драме, а на лице отражалась мучительная борьба.

Его концерты были короткими, потому что проходили на пределе эмоционального напряжения как для него, так и для зрителей. Никто и никогда не знал, куда приведёт следующий экспромт, весёлое и легкомысленное начало перерастало в грозу, музыкальный вихрь налетал, затем затихал и сменялся полным штилем. Николай славился мастерством этих переходов, так как все связки казались очень естественными, и независимо от того, сменялась ли буря затишьем, главная тема лейтмотивом звучала на протяжении всего произведения. И в то же время ни один из четырёхсот семидесяти восьми экспромтов не был похож на предыдущий.

После того как несколько мощных волн окатывали зал, Резников чувствовал себя уставшим. Оглушённый происшедшим, он обычно делал долгую паузу, прежде чем встать из-за инструмента. Во время этой паузы зал тоже замирал в оцепенении, и когда композитор, наконец, вставал из-за рояля и поднимал тяжёлый, измученный взгляд, зал взрывался аплодисментами, люди вставали, у одних текли по лицу слёзы, у других дрожали похолодевшие ладони, третьи никак не могли отдышаться. После этого музыкального наваждения даже дети покидали зал молча и весь остаток дня пребывали в каком-то странном состоянии, в котором не хотелось ни говорить, ни даже думать словами.

Известно, что Николай был человеком замкнутым. Он жил один, не преподавал, много времени проводил у рояля, но играл мало, в основном что-то подбирал и записывал. Иногда его видели во время одиноких вечерних прогулок и лишь изредка — в компании старых школьных друзей, с которыми он вспоминал какие-то давние приключения.

Конечно, студентов заинтересовала возможность лично познакомиться с известным композитором. Девушка с большими глазами в белой блузке и чёрной юбке, сидящая в первом ряду, не моргая, разглядывала Резникова. Он её мучитель, хоть и не знает об этом. По всем предметам Аня училась на “отлично”, но его экспромты ей не удавались, звучали сухо и бездушно. Уже год она им уделяла больше внимания, чем Баху, но так и не добила успех.

ха. А потому она усердно сверлила его взглядом, время от времени потирая от нетерпения колени: очень уж хотелось ей спросить его об исполнении экспромтов.

Но не только Аня ждала от Резникова откровений. Большинство присутствующих привело сюда любопытство: человек, который пишет подобную музыку, музыку-цунами, убивающую и возрождающую одновременно, должен быть особенной личностью. Студент Коля, сидящий за Аней и время от времени прожигающий взглядом её колени, предполагает, что Резников человек буйный и к тому же ловелас, периодически выливающий бурю эмоций в музыку. Марина, сидящая справа от Коли и тайно в него влюблённая, считает Резникова личностью чрезвычайно глубокой, с драматичной судьбой и непременно с разбитым сердцем. Андрей, сидящий в последнем ряду и попавший на презентацию композитора случайно, так как прятался в этой аудитории от своего научного руководителя (тот очень не любил Ивана Петровича), считал, что либо Резникову пишет музыку другой автор, либо что в глубине души Николай — человек властный, а сегодня просто не в духе. Ну, мало ли, всякое бывает...

Меж тем Резников, наконец, снимает пальто, кладёт его на ближайшую свободную парту, садится за стол и несмело поднимает глаза на аудиторию. В руках он держит лист с речью, но читать прямо по шпаргалке ему неловко.

Иван Петрович сидит теперь в стороне, всё ещё нетерпеливый и взволнованный; он хочет задать уже какой-то из своих многочисленных вопросов, но тут Резников начинает сам.

— Когда-то я и сам учился в этой консерватории, — негромко говорит он, и глаза его становятся чуть-чуть ярче. — Мне кажется, я был, как все студенты, не слишком усидчив, любил погулять. Да, я не был отличником, — продолжает он, как будто почуяв недоверие аудитории. — Больше всего мне нравилось пение, пока не... — на долю секунды он осёкся. — Пока не надоело, — он улыбается смущённо и немного криво. — Я сегодня шёл в консерваторию и вдруг заметил, что скамейка под каштаном, куда мы ходили покурить, и сейчас такая же... Вспомнилось, как мы с друзьями, когда готовились там к экзамену по теории, придумали такую игру: один называет аккорд, а другой должен ответить аккордом, который начинается с интервала, на который предыдущий заканчивается... Ну, как в “города”, только с аккордами, — Николай усмехнулся самому себе, на этот раз немного мечтательно, и Марина тотчас находит в этом подтверждение своей теории. — И вот мы сидим и говорим: он мне — “тэ три”, а я ему — “дэ семь”, а он мне — “дэ четыре три”!

Студенты улыбаются нехотя и настороженно. Им очень трудно поверить в то, что человек, который создаёт наваждения, занимался когда-то такой вот ерундой на всем известной лавочке с дешёвой сигаретой в зубах.

Николай чувствует эту настороженность и со вздохом берёт со стола ноты — это его новый сборник экспромтов. На лицо его снова ложится печать едва уловимого отчаяния и тоски об утраченном. Он напряжённо смотрит на сборник в своих руках, проводит рукой по взъерошенным волосам (рука его в этот момент почему-то похожа на когтистую лапу) и начинает говорить:

— Ну, что ж, расскажу вам немного о новом сборнике. В него вошли двадцать четыре последних экспромта, все они примерно равны по объёму. Двенадцать мажорных, двенадцать минорных, как обычно. На этот раз во всех экспромтах прослеживаются восточные мотивы...

Вскоре любопытство в аудитории сменяется разочарованием и даже лёгким раздражением. Резников говорит об экспромтах так, будто они не имеют к нему никакого отношения. Он называет их характеристики, прописанные рецензентами в предисловии к сборнику. Перечисляет зачем-то лады и размеры, ритмы и темпы. Лицо его при этом бесстрастно, а голос ровный, немного придушенный.

Андрей решает прервать эту ахинею — уж очень ему хочется подтвердить свою догадку.

— Скажите, — извините, что перебиваю, — а как вам удалось сделать такой бурный переход после интерлюдии в тринадцатом экспромте?

Аудитория оборачивается вся разом, чтоб посмотреть на обладателя этого голоса, решившегося на столь наглый вопрос.

Резников замешкался лишь на секунду. Он морщится, потому что с самого начала боялся, что ему начнут задавать вопросы. Его экспромты всегда были для него большой темой. Он писал и исполнял их четырежды в год, и всякий раз вздыхал с облегчением, когда до следующего концерта оставалось целых три месяца. Он старался ничего не читать о себе ни в газетах, ни в интернете и наотрез отказывался давать интервью по радио или телевидению. Согласиться в этот раз, первый и последний, его подтолкнула ностальгия по студенческим годам, проведённым в этих стенах, и он уговорил себя, что, дескать, студентам всё равно неинтересно, а я хотя бы вспомню те беззаботные времена, когда сам был на их месте. И вот теперь он втайне проклинал себя.

— Вы, вероятно, путаете тринадцатый экспромт с третьим, потому что в тринадцатом нет интерлюдии. В третьем переход именно такого характера планировался изначально... Без этого экспромт потерял бы уникальность. Да, пришлось сменить лады и сделать акцент на секундаккордах, но так требовала... — он дивится на это на слове, затем нехотя заканчивает: — идея.

Андрей теперь тоже испытывает разочарование. Резников, что называется, “шарит”.

Николай вздыхает, собирается продолжать, но в этот момент Аня решает, наконец, задать свой главный вопрос. Она тревожится, что в конце выступления может не хватить времени, и это при том-то, что она бьётся над этими экспромтами целый год, и ей никак нельзя упустить шанс узнать их секрет!

— Уважаемый Николай, — произносит она дрожащим, но настойчивым голосом. — Я хочу вас спросить как автора... композитора. Я выбрала восьмой и одиннадцатый экспромты из сборника “Шторм” и очень хорошо технически справляюсь с ними, но мне говорят, что они звучат сухо... Что вы могли бы посоветовать? Какие приёмы использовать для усиления выразительности, динамичности?

Резников секунду непонимающе смотрит на Аню, словно она говорит с ним на неродном языке. Затем слегка краснеет и вдруг говорит:

— Так выберите другие.

Аудитория взрывается смехом. Аня чувствует себя душой и чуть не плачет. Её шея и колени покрываются от волнения красными пятнами.

Резников это замечает, ему делается ещё более неловко. Чтобы сгладить неловкость, он говорит:

— Вам нужно быть внимательнее к деталям. Если динамические оттенки не указаны редактором, делайте карандашные пометки там, где считаете нужным. Не бойтесь слегка изменять темп для усиления выразительности, — он помолчал, нахмурил брови и добавил: — Используйте музыку как язык. Каждый экспромт — это история со сложным сюжетом. Если я вам расскажу сейчас сюжеты восьмого и одиннадцатого экспромтов, вы не станете играть лучше. Вы должны сами увидеть и прочувствовать этот сюжет, а потом исполнить его в собственной интерпретации. Знаете, здесь, как в рунах: вроде бы всё об одном и том же, но для каждого человека — свой знак.

Николай выглядит так, как будто собственные слова его смутили. Поднимает вопросительный взгляд на Аню. Та явно разочарована. Его слова ничего не говорят ей. И почему на академическом нельзя исполнить ещё две фути Баха вместо дурацких экспромтов?!

— Спасибо, — выдавливает она, опуская глаза.

Надо признать, что к этому моменту четвёртая часть аудитории уже покинула лекционное помещение. Остальных удерживало отсутствие необходимой для этого наглости, пассивно-сонливое состояние, присущее недосыпающему организму, и отчасти любопытство, хоть и угасающее.

Иван Петрович, озабоченный потерей слушателей, предпринимает активное вмешательство.

— Николай! — вскакивает он со стула, но не полностью, а как бы пытаясь вырваться из оков коричневой безрукавки. — Расскажите нам, когда

вы написали первый экспромт? Известно, что вы до двадцати одного года вообще не занимались композицией.

В воздухе повисла какая-то особая форма молчания, густеющая на глазах. Николай напряжённо вглядывается в свои пальцы, губы его сжались, брови поднялись и застыли. Он вздыхает и, по-прежнему не отводя глаз от своих рук, говорит:

— Всё началось с того сновидения на четвёртом курсе.

Студенты приходят в недоумение: что это за байку он вздумал травить им на этот раз?

Резников не замечает их реакции. Он сосредоточен, ему очень трудно говорить: он будто выплёвывает слова, преодолевая сильное напряжение. Руки его хот и лежат на столе, но выглядят, словно когти, в любую минуту готовые впитаться в жертву. Плечи неподвижны, а на опущенное лицо ложится тень, из-за которой не видно его взгляда.

— Мне кажется, до этого сна я был обычным студентом, я бы даже сказал, средним студентом. Накануне вечером, как сейчас помню, мы с друзьями за пивом сидели в дешёвеньком баре на углу Орловской улицы и “зацепили” тему привязчивых мелодий. Мнения разделились: мой однокурсник Миша Лобаньков, музыкальный теоретик, бился об заклад, что всему виной определённое сочетание ладов, что в привязчивых мелодиях есть схожие последовательности. Привёл даже несколько примеров, а после второго бокала пообещал вывести специальную закономерность, так сказать, общую формулу прилипчивых мелодий. — Резников на этом месте слегка улыбается, как тогда, когда рассказывал про игру в аккорды. — Андрей Гуманов, его сосед по общежитию, виолончелист, романтичный такой парень, сказал, что всё зависит от настроения человека. Мол, на что человек настроен, такие мелодии к нему и притягиваются. Серьёзно настроен — Бах в голове крутится, влюбился если — ерунда какая-нибудь попсовая про любовь. Все так спорили, так спорили! Дружно мы тогда посидели, — в голосе Резникова чувствуется ностальгия, затем улыбка исчезает, и спустя мгновение его лицо снова становится напряжённым, а руки — когтистыми, и он с горечью продолжает: — А я тогда смеялся и говорил: “Чушь всё это, ребята!” Потому что ко мне никогда мелодии не липли (по крайней мере, так было до того дня). Я вообще не понимал этого феномена, а когда подвыпил, сказал, что по закону подлости к человеку липнут самые противные, дрянные и бессмысленные мелодии, какие только он может вспомнить. Это как теребить мозоль: вроде и не сильно болит он, но и оставить в покое его не можешь.

Резников прикрывает глаза, весь напрягается и с усилием произносит:

— А потом мне приснился первый экспромт.

Он открывает глаза, поднимает их на аудиторию и на секунду замирает. Ребята смотрят на него с удивлением и интересом, а некоторые девочки даже с сочувствием (отличница Аня в их число, конечно, не входит).

Это его немного прибодряет, и больше он не опускает голову, но говорит по-прежнему сдавленно.

— Снится мне старый концертный зал, в котором проводились академические концерты моей музыкальной школы. Зал пустой, в окна светит солнце, я иду к роялю, сажусь за него и играю экспромт. Руки вроде как сами знают, что им делать. И всё такое настоящее, клавиши у рояля даже немного тёплые там, где на них падает солнце. Одно только меня насторожило: во всём этом — какая-то обречённость, как будто я вечно должен садиться за этот рояль и играть. Проснулся я тогда уставший, хотя спал больше восьми часов. Представляете — пальцы болели, как будто и правда всю ночь играл! И мелодию эту за ночь я наизусть выучил.

Резников, увлекшись, разводит руками, словно адресуя изумление аудитории. Студенты теперь и правда слушают внимательно, а Иван Петрович — чуть ли не раскрыв рот. Галстук его окончательно съехал на сторону и оттопырил ворот безрукавки. Время от времени Иван Петрович поглядывает на аудиторию и становится всё более довольным: *вдохновение состоялось*.

— Но что гораздо неприятнее, — продолжал Резников, — мелодия преследовала меня весь день, я не мог ни на чём сосредоточиться, едва не попал

под машину, переходя дорогу, и разбил дома чашку по рассеянности. Но настоящий ад начался ночью. Уставший, я провалился в сон и — что бы вы думали?.. — Резников глядел на студентов с усмешкой и отчаянием одновременно. — Всё началось сначала. Наутро я проснулся ещё более уставшим и плюнул на занятия. Подремал кое-как пару часов, потом решил навестить Мишку, приехал к нему в общежитие, а тот сразу заметил: чего, говорит, у тебя, Резников, глаза стеклянные? Я ему рассказал. Он долго смеялся, позубоскалил насчёт моих высказываний в пивном баре и посоветовал записать пьесу, прежде чем обращаться к психиатру. А вдруг, говорит, отстанет.

Я приехал домой и решил для чистоты эксперимента всё-таки попробовать поспать. Через пару часов, однако, стало ясно, что мелодия отпустить меня не намерена. Она приснилась мне снова, только в этот раз передо мной на попитре стояла чистая нотная тетрадь, а рядом с ней лежал карандаш. Я потянулся к нему и в этот момент проснулся. Был час ночи, и я понял, что, прежде чем разбираться, что это за чертовщина, придётся от неё избавиться. И я поддался этому болезненному искушению. Достал чистую нотную тетрадь, взял карандаш, сел за пианино и, наигрывая мелодию, начал писать.

К пяти утра экспромт был закончен. Бросив карандаш, я повалился на кровать и уснул мёртвым сном, а в восемь утра проснулся бодрым, словно этого кошмара и не бывало. Подумал ещё: приснится же такое! А тут смотрю: на попитре — последствия моих ночных безумств. Поморщился, бросил в письменный стол тетрадь с карандашом и помчался на занятия.

Признаться, первые два дня я бегал окрылённый. Вдохновенно рассказывал друзьям о случившемся, за пару часов выучил пьесу, назвал её “Экспромтом фа-диез минор” и сыграл своему преподавателю. Фёдор Станиславович тогда не особенно удивился, сказал: “Что это вы, Коля, вздумали шутить?.. Стибрили у кого-то замысел и обработали по-своему. Так почти каждый может”. Я не обиделся. Я отлично высыпался и очень скоро начал относиться к этой истории, как к забавному моменту своей жизни. Решил, что внутреннего согласия с тем, что приставучие мелодии всё-таки существуют, равно как и ирония судьбы, с меня достаточно. Хотя, вы знаете, запала мне в душу крупная мелочного сожаления о том, что шанс прославиться только подразнил меня, а ведь могло бы быть, могло бы!..

Резников машет рукой: дескать, да ну его, — и произносит с чувством: — Тщеславие! Может, из-за него всё?..

Аудитория заинтригована. Николай не похож на человека, который на ходу сфабриковал историю происхождения своих гениальных экспромтов. Андрей начинает думать, что, вероятно, всё гораздо запутаннее, что Резников, должно быть, фантазёр-социопат, задумавший разыграть всех сейчас, а его экспромты ему помогает писать его знакомый теоретик с математическим складом ума... как его... Лобаньков.

Марина замирает в восхищении, она хочет продолжения, потому что — вот, вот оно! — раскрывается история глубокой драмы, страданий тонкой, чувствительной к оттенкам этого мира души, с её субъективным надломом, с “днём-с-которого-всё-началось” и невыразимой печалью в глазах. А дальше — дальше она хочет узнать, что таится за когтистыми его пальцами, пальцами мастера, из-под которых, словно карточная колода у шулера, стремительно вылетают пассажи, трели, форшлаги...

А Резников тем временем заговорил более спокойно и отстранённо. Казалось, после истории его первого экспромта напряжение утихло, и ему стало всё равно, что рассказывать, а что — нет.

— Наверное, поэтому тщеславие запело во мне победную песню, когда история повторилась. Это случилось через три недели после первого раза. Я снова увидел тот же зал, рояль с тёплыми клавишами, и во сне я почему-то не сомневался, что это будет что-то новое. На попитре уже стояла приготовленная нотная тетрадь. Я снова играл, и мне казалось, что музыка рассказывает мне о логичном продолжении предыдущего экспромта. Я проснулся на рассвете уставший, но тщеславие заставило меня сесть за пианино и записать новый экспромт за несколько часов. Это было поразительно.

Я писал, словно под диктовку, а иногда мне казалось, что мою руку ведёт невидимый дух, и мне неведом будет покой до тех пор, пока я не закончу этот экспромт. Я ощущал какой-то болезненный азарт, я думал: до чего же просто быть талантливым! Эти дьявольские мелодии падают тебе на голову, пока ты спишь, а потом ты записываешь их со скоростью печатной машинки и — оп-па! — гениальный экспромт готов за одну ночь.

На следующий день я проспал до вечера, а вечером явился к Фёдору Станиславовичу и исполнил ему новый экспромт. Тот был озадачен. Он попросил подготовить оба экспромта к следующей неделе, чтобы выступить перед комиссией из нескольких преподавателей, и быть готовым рассказать о процессе создания экспромтов.

Я тогда, чтобы не прослыть наркоманом или шизофреником, не стал ничего рассказывать о своих снах, а просто заявил, что иногда на меня находит вдохновение, мелодия привязывается и вертится в голове, пока я её не запишу. Они задавали много вопросов, а я в основном выкручивался, рассказывая, что творческий процесс — штука спонтанная и непредсказуемая, и логически её объяснить очень трудно. Так как они не имели контраргументов, а автор с похожими произведениями не нашёлся, они рекомендовали мне сделать некоторые доработки и пообещали содействие в публикации, если я буду продолжать в том же духе.

— Смотри мне! — с недоверием потряс кулаком Фёдор Станиславович. — Если обнаружится, что это плагиат, я первый пойду к ректору с заявлением, чтобы тебя исключили.

С тех пор понеслось. За первые полгода я написал тринадцать экспромтов и издал первый сборник. Я был опьянён, и в перерывах между ночными наваждениями (а тогда они были длинными, около десяти дней) предавался праздности и черпал внимание музыкального сообщества большой ложкой. Я стал меньше общаться с Мишкой и Андреем, но у меня появилось много новых знакомых, в том числе и девушек. Впервые в жизни я был окружён женским вниманием и, когда хотел, мог привести к себе домой любую красавицу из консерватории. За публикацию сборника я получил гонорар и объявил родителям, что отныне полностью буду обеспечивать себя сам. Я не стал богачом, но сознание своей финансовой независимости мне очень льстило. Я стал чаще прогуливать пары, потому что преподаватели ставили мне оценки авансом. На пятом курсе я вообще почти не появлялся на занятиях.

После публикации сборника мне предложили дать концерт в консерватории. Прежде я не любил концерты даже в рамках академической сессии, но тогда решил, что это даст мне хороший старт: повысит продажи моего сборника, а это, сами понимаете, важно. Ноты — это всё-таки не бестселлеры, на них практически невозможно заработать. Ну и, конечно, внимание. Я познал, что такое “звёздная болезнь” во всей красе. Я стал потребителем внимания, не важно — в каком качестве, важно — в каком количестве: я ходил по вечеринкам, менял девушек, появлялся на занятиях лишь для того, чтобы почувствовать на себе восхищённые взгляды сокурсников.

Первый концерт многое изменил в моей жизни. Он пришёлся на конец июня, а это значит, что после него должны были быть последние студенческие каникулы. Мишка и Андрей звали меня в Карелию сплавать на байдарках, а я из-за своей звёздности и подготовки к концерту даже не находил времени им ответить, откладывая все дела на “после концерта”.

Резников делает паузу, с удивлением и неловкостью вглядываясь в аудиторию. Рассказ получается гораздо откровеннее, чем ему бы хотелось. Он вдруг прищуривается и усмехается, и это выражение делает его лицо живым. Он думает, что чего уж там, теперь терять нечего.

— Я сильно волновался перед концертом. Помню, что выпил сто граммов коньяку. Я стоял за плотной бордовой шторой кулис в ожидании, пока меня объявят, и меня сковывал ужас, я чувствовал себя робким студентом, который вязался в какую-то опасную игру. Когда меня объявили, я вышел на середину сцены, и зрительный зал качнулся у меня перед глазами. Все взгляды были устремлены на меня, и на какое-то мгновение я захлебнулся

вниманием зрителей, зажмурился, слегка поклонился и поспешил к роялю. А когда я сел за него и коснулся холодных клавиш, всё исчезло.

Я очень ясно помню ощущения от того первого концерта. Для меня, застенчивого студента консерватории, мир действительно исчез. Точнее, его поглотила стихия. В одно мгновение она проникла в каждую клетку моего тела, подобно синему пламени, и в тот момент, когда я завершил первый пассаж громким аккордом, это пламя словно вырвалось из моей макушки — та-дам! — и я превратился в факел, неизвестно кем и как подожжённый. Синее пламя стекало по пальцам и к концу первой интерлюдии охватило рояль: я был полностью подчинён этому дьявольскому альянсу музыки и инструмента, и только какая-то часть моего мозга наблюдала и запоминала ощущения этой кошмарной оргии. Я чувствовал себя смывком в руках виртуозного духа, для которого ничто не имело значения, кроме той власти, которую он получал над аудиторией. Этот дух порождает прекрасные музыкальные идеи, но в тот день я понял, что они — всего лишь побочный продукт всей этой вакханалии, энергия, которая больше опустошает, чем наполняет. Отыграв, я с минуту приходил в себя, не вставая из-за рояля. Я чувствовал себя изнасилованным. Пошатнувшись, я встал и вернулся за кулисы.

После того концерта я никого не хотел видеть и вместо Карелии улетел в Турцию по горячей путёвке, где неделю пил в отеле турецкую водку и дешёвый виски и только на пятый день выбрался на море. Я проводил дни, бездумно раскачиваясь в гамаке на балконе. Передо мной открывался роскошный пейзаж, но все красоты этого мира померкли для меня: я понял, что заточён в рабство. Впрочем, на шестое утро во мне поселилась слабая надежда, что во время концерта я выполнил свою миссию и, восстановившись, смогу вернуться к прежней жизни. Я тогда прямо из отеля позвонил Мишке, но он был недоступен: на тот момент они с ребятами уже плыли под серебристым небом Карелии. Последние дни моего отпуска были полны разочарования: я, наконец, осознал, как чудовищно раздулось моё эго, что я потерял друзей и, самое главное, — потерял себя. До начала музыкальных наваждений я вёл спокойную жизнь, полную тихих радостей: звёзд с неба не хватало, но учился с удовольствием, и мысль, что я буду преподавать в музыкальной школе, не вызывала у меня неприязни, наоборот, мне нравилось работать с детьми — это я понял ещё на практике. Лето я любил проводить в деревне, время от времени выбираясь в лес по ягоды и грибы. А наваждения... Они зацепили самую уязвимую часть моей личности: то, что иногда я ужасно стыдился своей посредственности и обыденности, иногда завидовал известным музыкантам. Но у меня до сих пор нет ответа на вопрос, почему выбрали именно меня.

Николай замолк. В его взгляде появилась печаль, правда, уже не такая отчаянная, как в тот момент, когда он вошёл в аудиторию. Конечно, он не верил, что студенты способны понять его, но ему стало легче дышать, напряжение, не отпускавшее его почти восемь лет, словно отступило.

— В тот же день, когда я вернулся из Турции, всё началось сначала. Я не удивился. Я принял эту ношу, но твёрдо решил, что больше не позволю себя разрушать. Весь пятый курс у меня ушёл на то, чтобы сделать свою жизнь максимально независимой от этого синего пламени. Я двигался муравьиными шагами, но с муравьиным же усердием. Я снова начал общаться с Мишкой и Андреем, и до сегодняшнего дня они были единственными, кто знал о природе моего таланта. Они отнеслись к этому, как к болезни, вроде запоев алкоголика: они знают, что во время таких “обострений” меня нельзя трогать, а когда я заканчиваю черновик, они даже помогают мне с редактурой, потому что как только она завершена, меня “отпускает”. Я дистанцировался от прессы и своих новоявленных поклонников, чтобы не развивать в себе тщеславие. Я ограничил количество концертов до четырёх в год и нашёл способ восстанавливаться после них всего за два дня. И знаете, чем я горжусь больше всего в своей жизни? — Резников, наконец, улыбнулся. — Я уже семь лет работаю в музыкальной школе, в самой обычной школе. Конечно, мне приходится постоянно менять расписание, и у меня только три



ученика в год, но общение с ними позволяет мне на какое-то время забыть о собственном рабстве...

В аудитории воцарилось молчание. Иван Петрович ошеломлён был настолько, что уже в середине рассказа перестал ёрзать и уставился себе под ноги, подперев голову руками. Теперь ему не давала покоя мысль, что своим бездумным приглашением он может разрушить судьбу Резникова. Всё происшедшее вызвало у него очень тяжёлое чувство.

Марина, выждав паузу, подняла руку. Николай посмотрел прямо на неё, кивнул: дескать, давай уж свой вопрос. Она, очень смущаясь, всё-таки осторожно спросила:

— Вы сказали, что в первое время у вас было около десяти дней... А сколько сейчас?

Руки Резникова снова становятся напряжёнными, он смотрит на них и произносит тихо:

— Иногда — четыре. Иногда — два.

Студенты молчат, глядя в сторону: кто — на парту, кто — в окно. Николай, наконец, встаёт, берёт пальто, набрасывает его на себя и, помедлив, говорит:

— Спасибо! Мне... пора.

Он решительно направляется к двери и покидает аудиторию. Иван Петрович медленно поднимается со стула.

— Прощу всех вас, — тихо говорит он, хоть ему самому трудно принять собственные слова, — не выносить услышанного... за пределы аудитории...

\* \* \*

Вечером того же дня Аня, придя домой, долго держит в руках сборник с восьмым и одиннадцатым экспромтами. Она думает о том, как замечательно, что у них в доме есть камин.

Когда дрова разгораются, она яростно раздирает сборник пополам, комкает страницы, топчет их с наслаждением, а потом бросает в огонь, выкрикивая:

— Синим пламенем! Синим пламенем!..

Отдышавшись от восторга, она садится за свой комнатный рояль и, потерев потеплевшие ладони, распахивает толстую хрестоматию И. С. Баха. Спустя минуту комнату наполняют ровные, как горошинки, звуки шестиглосной фуги.